



Николай Николаевич Асеев
Я не могу без тебя жить
(стихотворения, поэмы)

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2671885
Асеев Н. Я не могу без тебя жить: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-53178-3

Аннотация

Николая Асеева называют соратником Маяковского. Это верно только отчасти. Он был добрым знакомым Хлебникова, товарищем Пастернака, другом писателей и художников, деятелей русского авангарда. Но главное – Николай Асеев был стихотворцем с собственным уникальным голосом, отличным прозаиком, точным мемуаристом. Таким он и предстает на страницах этой книги, в которой собраны лучшие стихи и поэмы, избранная проза и воспоминания этого замечательного мастера.

Содержание

Путь в поэзию[1]	5
Стихотворения	12
Москве	12
Грозува	13
Фантазмагория	14
Заповедная буща	15
* * *	16
* * *	17
Бреговег	18
И последнее морю	19
Граница	20
Запевает	21
Звенчаль	22
Гремль	23
Тунь	25
И вот опять все то же	26
Гудошная	27
Шепоть	28
Сорвавшийся с цепей	30
Торжественно	31
Объявление	32
Морской шум	33
* * *	34
Повей вояна (вступление)	35
* * *	36
* * *	37
Венгерская песнь	38
Откровение	39
Скачки	40
Проклятие Москве	41
* * *	42
* * *	43
Через гром	44
* * *	45
Кремлевская стена	46
1	46
2	46
* * *	47
* * *	48
* * *	49
* * *	50
Предчувствия	51
1	51
2	51
Охота	53
1	53

2	53
* * *	54
Небо революции	55
Приглашение к пляске	56
* * *	57
Заржавленная лира	58
1	58
2	58
3	59
4	59
Россия издали	61
Игра	62
Жар-птица в городе	63
Об обыкновенных	64
1	64
2	64
Птичья песня	66
* * *	67
Наигрыш	68
Собачий поезд	69
1	69
3	70
Бык	72
1	72
2	72
3	73
А. А. Ахматовой	74
Конец зиме	75
Синие гусары	76
1	76
2	76
3	77
4	77
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Николай Николаевич Асеев

Я не могу без тебя жить

Путь в поэзию¹



Городок был совсем крохотный – всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недалекий луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. «Можно, тетенька, напиться?» И тетенька останавливается, наклоня коромысло.

¹ Статья печатается с незначительными сокращениями.

Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла – это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города – почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блестел медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.

Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово – проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших «билетики» от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки – выжаренные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное – это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища... Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера – деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не потерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук.

Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больной, а я был предоставлен самому себе.

На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец – толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.

И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павлович. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал, разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который так же увлекался своими воображаемыми героями.

Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали раным-рано, сели на крыльчке дожидаться первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крыльчке, глядя через конопляник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен

мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц – явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.

– Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!

– Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это – ложные солнца.

– Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!

– Ну ладно, гляди, гляди!

Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.

Учение кончилось, вернее оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции, и в Университете, куда я поступил вольнослушателем, – не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте. Литератор Н. Шебуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших – Н. Огнева, Ю. Анисимова. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорила меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в «Обществе свободной эстетики», где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да у него не раз прорывались мысли обо мне в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.

Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых «Чтецах-декламаторах». Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то время. Публика привыкала к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи. А.К. Толстого, очень популярного тогда поэта-русофила, обращавшегося к темам Древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаль и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызывали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задевающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории слова. Немало сделало чтение гоголевского «Тараса Бульбы», «Страшной мести», навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; да и Гоголь пленял пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: «Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и приумноженное чувство гражданского подвига.

Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить,

что остается взамен от этого понятия. Бога нет – это ясно; но что же есть? Человек – это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не переходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом.

К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, – а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда – недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств – и вот рождались и слова, и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», – все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными – зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостатке снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.

Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.

Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться,
а линией черного года?

Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.

Герб серба сорвала слишком грубая рука.
Время Европу расшвырять!

Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «...Серая солдатская шинель выучила и образовала», – писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку.

Но Первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось. И стихи о революции писались, как рапорт народу:

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Это был мой «Первомайский гимн» – гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:

Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!

И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литературе проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум – А. И. Герцен:

«Досадно, что я не пишу стихов, – говорил он в повести «Поврежденный» (1851), описывая природу средиземноморского побережья. – Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это было за заведование – вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» – была такая должность. Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик – подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР – Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А.В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, – и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в Лефе, в

газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как паром, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с ним города Союза – Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невосвратимо и неповторимо.

На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного.

Николай Асеев
1957 – 1962
Москва

Стихотворения

Москве

Константину Локс

И ты передо мной взметнулась,
твердыня дремная Кремля, —
железным гулом содрогнулась
твоя священная земля,
«Москва!» — и голос замирает,
и слова выпренного нет,
взор опаленный озирает
следы величественных бед;
ты видела, моя столица,
у этих древних алтарей
цариц заплаканные лица
и лики темные царей;
и я из дальнего изгнания,
где был и принят и любим,
пришел склонить воспоминанья
перед безмолвием твоим...
А ты несешь, как и когда-то,
над шумом суетных шагов
соборов сумрачное злато
и бармы тяжкие снегов.
И вижу — путь мой не случаен,
как грянет в ночь Иван: «Прийди!»
О мать! — дитя твоих окраин
тоскует на твоей груди.

1911

Грозува

Как ты поднимаешь железо,
так я забываю слова:
куда погрохочет с отвеса
глухая моя булава?

Как птицы, маячат присловья,
но мне полонянна — одна:
подымет посулы любовь
до давьего дневьего дна.

По крыльям железной жеравы
стекает поимчивый путь,
добычит лихие забавы
ее белометная грудь.

Ветров перемерявши шелком
беззвучии твоих глубину,
я вызвежжусь на небе желклом,
помолньями в мир полыхну —

Чтоб ты, о печале Роксано,
вершала могучий потуст,
ничьею рукой не касанна,
ничьих не касаема уст.

*1912
Москва*

Фантасмагория

Н. С. Гончаровой

Летаргией бульварного вальса
усыпленные лица подернув,
в электрическом нёбе качался
повернувшийся солнечный жернов;
покивали, грустя, манекены
головами на тайные стражи;
опрокинулись тучами стены,
звезды стали, стеная, в витражи;
над тоскующей каменной плотью,
простремглавив земное круженье,
магистралью на бесповоротье
облаками гремело забвенье;
под бичами крепчающей стужи
коченел бледный знак Фаренгейта,
и безумную песенку ту же
выводила полночная флейта.

1913

Заповедная буща

Триневластная твердыня
заневоленных сердец.
Некуда дремлюге ныне,
некуда от шумей деться:
мечутся они во стане,
ярествуют на груди.

А в те дни, смеясь, предстанет
везичь везей впереди!

Бунь на поляне Цветляны,
осень взбежала – олень, —
только твои не сгубляны
ясовки, яблочный день;
только твои не срубляны
белые корни небес...

Дивится делу Цветляны
детская доля живет.

*1913
Москва*

* * *

Перуне, Перуне,
Перуне могучий,
пусти наши стрелы
за черные тучи.

Чтоб к нам бы вернулись
певучие стрелы,
на каждую выдай
по лебеди белой.

Чтоб витязь бы ехал
по пяди от дому,
на каждой бы встретил
по туру гнедому.

Чтоб мчались кони,
чтоб целились очи, —
похвалим Перуна,
владельца мочи.

<1914>

* * *

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь, князь,
светлоумный, резвоногий,
нам его послали боги!

Ой, ясь, ясь, ясь!
Есть князь, князь, князь!
Как твой первый бег,
буди быстр весь век.

Как ты всех упрежал,
пред тобою кусты
под покровом тьмы
преклонялися,
а до нас добежал,
светлоликий ты, —
пред тобою мы
рассмеялися.

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь у нас,
светлоликий, резвоногий,
нам его послали боги!

<1914>

Бреговег

Зазмеившись, проплыла,
грозных вдаль отбросив триста,
в море – памяти скула —
в слезы взмыленная пристань.

Даже высушена соль,
даже самый ветер высох,
но морей немая боль
желтым свистом пляшет в лицах.

И в колени моряка
опрокинув берег плоский,
перережутся века
черным боком миноноски.

Уплывающим – привет,
остающимся – прощенье.
Нас – ни здесь, ни с теми нет,
мы – ведь вечности вращенье!

*Июнь 1914
Евпатория*

И последнее морю

Когда затмилось солнце,
я лег на серый берег
и ел, скрипя зубами, тоскующий песок,
тебя запоминая
и за тебя не веря,
что может оборваться межмирный волосок.

Всползали любопытно по стенам смерти тени,
и лица укрывала седая кисея.
Я ощущал земли глухое холоденье,
но вдруг пустынный воздух вздохнул и просиял!

Ты чувствуешь в напеве скаканье и касанье?
То были волны, волны! Возникнут и замрут...
Я вспомнил о Тоскане, где царствовать Оксане.
И вот тебе на память навеки изумруд.

*Август 1914
Крым*

Граница

Гляжу с улыбкой раба:
одного за другим под знамена,
грозясь, несет велеба,
взывая вдаль поименно.

Какой человек в подъемнике
подбросился вверх, как мячик?..
Склонились внезапно домики
для взоров искусно зрячих.

Их много вдали, игрушечных,
свалилось, как черный козырь,
когда от дыханий пушечных
бежали по небу розы.

Светись о грядущей младости,
еще не живое племя!..
О Время! Я рад, что я достиг
держать тебе ныне стремя.

*Октябрь 1914
Москва*

Запевает

Что руки твои упали,
еще ничего не зная,
на осеребь леткой стали,
потеха моя удалая?

Не ты ль поднялась полками
повыморить город мором,
своими свела руками
к его железным заторам?

Устам миловаться сладко,
а сердцу жалеть невместно...
Плыви Колыванью, Златко,
земная моя невесто.

Поход твой поле полечит,
годов перевеяв тридцать...
Сорвет журавеля кречет
к твоей тугой рукавице.

Курись кустом над поляной,
крути железовье кресью,
пока жужжавой каляной
пойму тебя в понебесье.

1914

Звенчаль

Тулумбасы, бей, бей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

Доломаны – быстрь, быстрь,
похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
переметим наново!

Чубовье раскрутим,
разовьем хоругвь путем,
а тугую сутемь
раньше света разметим!

То ли не утеха ли,
соловейко-солоду,
то ли не порада ли,
соловейко-солоду!

По грудям их ехали —
по живому золоту,
ехали, не падали
по глухому золоту!

Соловее, вей, вей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

1914

Гремль

Пламенный пляс скакуна,
проплескавшего плашменной лапой;
ад душой – вышина,
верхоглавье весны светлошапой.

В этом тихом дождике —
ах, какая жалость! —
ехал на извозчике —
сердце разорвалось.

Не палят сияния
на Иван Великий;
просят подаяния
хитрые калики.

Точат, пеню слезную,
а из глоток – пламя,
движут силу грозную,
машут костылями.

«Пейте, пейте бесиво,
сучья перебежки,
прокатайтесь весело
в чертовой тележке!

Напивайтесь допьяна
бешеною сытой,
а князьевы копья на
попадет упитый!»

Дни и ночи, бегая,
не уйдешь от чуда...
Гей, лошадка пегая,
увози отсюда!

Двери глухо заперты,
пожелтели книги,
никогда на паперти
не звенят вериги.

Галстучек горошками
ветриво трепался,
поднимал ад рожками,
поднимал три пальца.

Там над половодьями
холодела давечь,
пало под ободьями,
пало тело навзничь.

Над Иваном растет вышина,
то под небом, слезою омытым,
то огонь острогонь скакуна
из весны выбивает копытом.

1914

Тунь

М. М. Уречиной

Ты в маске электрической
похаживаешь мимо,
а я – на Дон, на Дон, на Дон
зову тебя очима.

Не сонь моя, не тень моя,
не голос мой не звучен:
я горшими мученьями
во младости замучен.

И там рука, и там нога,
и день меледневает,
а здесь – брожу, ищу врага,
что встретиться не смеет.

Пустынным палом похоти
перепалило роды,
а ты в милейном хохоте
залащиваешь годы.

На теле на порубанном
похаживает ворон,
и страшно нам и любо нам
сходиться взор со взором.

Не ведаю ни ветра я,
ни холода, ни зноя.
Прими, другиня щедрая,
безмерного героя.

Лежу-лежу, пою-пою,
и ночь моя короче.
Пойдем на Дон, на Дон, на Дон
свести на очи – очи.

1914

И вот опять все то же

Как черви плоски и правы
столпились людские истины,
но гневно краснеют травы,
и лес истлевает лиственный.
Про эти зеленые войны
какой сообщу редакции?
Ведь слишком густой и хвойный
победой в своих рядах сиял.
Как ставят иконе свечку —
я штык навинчу и вычищу:
иди ко мне, человечку,
большой и злой человецище.
Травой обгорелой стань
ты, голос, глухой меж прочими,
и боль оборви, гортань,
кровавыми свежими клочьями.
А ты, тишина, — ори
и новому миру радуйся
в жару осенней зари,
в горячечном белом градусе!

1914

Гудошная

Титлы черные твои
разберу покорничьим,
ай люли, ай люди,
разберу покорничьим.

Духом, сверкой, злом взрой,
убери обрадову,
походи крутой игрой
по накату адову,

Опыланью пореки
радости и почести —
мразовитыя руки
след на милом отчестве,

Огремли глухой посул
племени Баянова,
прослышаем нами гул
струньенника пьяного.

Титлы черные твои
киноварью теплятся,
ай люли, ай люли,
киноварью теплятся.

1914

Шепотъ

Братец Наян,
мало-помалу
выползем к валу
старых времян.

Видишь, стрекач
чертит раскосый.
Желтополосый
лук окарячь.

Гнутся холмы
с бурного скока.
Черное око
выцелим мы.

Братец Ивашко,
гнутень ослаб.
Конский охрап
тянется тяжко.

Млаты в ночи —
нехристя очи.
Плат оболочий
мечет лучи.

Братец Наян,
молвлено слово —
племени злова
сном ты поян.

Я на межу
черныя рати
мги наложу
трое печати.

Первою мгой
сердце убрато.
Мгою другой
станет утрата.

Отческий стан
третьей дымится...
Братец Наян,
что тебе снится?

1914

Сорвавшийся с цепей

Борису Пастернаку

Мокроту черных верст отхаркав,
полей приветствуем изменой —
еще влетит впотьмах под Харьков,
шипя морской осенней пеной.

И вдруг глаза во сне намокнут,
колеса сдавят рельс узкий,
нагрянет утро, глянут окна
на осень в новом недоуздке.

А подойдешь к нему под Тулой
забыть ладонь на поршне жарком:
осунувшийся и сутулый
в тумане роется огарком.

Но — опылен морскою пеною,
сожрав просторы сна и лени,
внезапно засвистит он: «Генуя!» —
и в море влезет по колени.

18 июля 1915

Торжественно

Разум изрублен. И
скомканы вечностью вежды...
Ты
 не ответишь, Возлюбленный,
прежняя моя надежда.

Но не извернусь, мыслями стиснутый
 тесными,
нет, не изверуюсь, нет, не изверуюсь.
 Реже – но
буду стучать к Тебе, дикий, взъерошенный,
 бешеный,
буду хулить Тебя, чтоб Ты откликнулся
 песнями!

1915

Объявление

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Буквы сигают, как блохи,
облепили беленькую страничку.
Ум, имеющий привычку,
притянул сухие крохи.

Странноприимный дом для ветра,
или гостиницы весны —
вот что должно рассыпать щедро
по рынкам выросшей страны.

1915

Морской шум

Две слабости: шпилек и килек...
А в горячее лето
море целит навывлет
из зеленого пистолета.

Но, схвативши за руку ветер,
Позабывшее всё на свете,
в лицо ему мечет и мечет
лето – горячие речи.

О море – как молодец! Весь он
встряхнул закипевшие кудри,
покрытый ударами песен
о гневом зазнавшемся утре.

Ты вся погружаешься в пену,
облизанная валами,
но черную похоти вену
мечтой рассеку пополам я.

И завтра, как пристани взмылят,
как валом привалится грудь, —
навывлет, навывлет, навывлет
меня расстрелять не забудь!

1915

* * *

Я знаю: все плечи смело
ложатся в волны, как в простыни,
а ваше лицо из мела
горит и сыплется звездами.

Вас море держит в ладони,
с горячего сняв песка,
и кажется, вот утонет
изгиб золотистого виска...

Тогда разорвутся губы
от злой и холодной ругани,
и море пойдет на убыль
задом, как зверь испуганный.

И станет коситься глазом
в небо, за помощью, к третьему,
но брошу лопнувший разум
с размаха далёко вслед ему.

И буду плевать без страха
в лицо им дары и таинства
за то, что твоя рубаха
одна на песке останется.

1915

Повея война (вступление)

Еще никто не стиснул брови
врагам за думой одолеть их,
когда, шумя стаканом крови,
шагнуло пьяное столетье.

Как старый лекарь ржавым шилом,
увидя знак болезни тяжкой,
он отворил засовы жилам
и бросил сгустки в неба чашку.

Была страна, как новый рой,
курилась жизнь, как свежий улей;
ребенок утренней порой
игрался с пролетавшей пулей.

Один поет любовь, любовь,
любовь во что бы то ни стало!
Другой – мундира голубого
сверкает свежестью кристалла.

Но то – рассерженный грузин,
осиную скосивши талью,
на небо синее грозил,
светло отплевываясь сталью.

Но то – в пределы моряка,
знамена обрывая в пену,
вкатилась вольности река,
смывая гибель и измену.

Еще смертей двойных, тройных
всходил опары воздух сдобный,
а уж труба второй войны
запела жалобно и злобно.

Пускай тоски, и слез, и сна
не отряхнешь в крови и чаде:
мне в ноги брякнулась весна
и молит песен о пощаде.

* * *

Еще! Исковерканный страхом,
колени молю исполина:
здесь всё рассыпается прахом
и липкой сливается глиной!

Вот день: он прополз без тебя ведь,
упорный, весенний и гладкий.
Кого же мне песней забавить
и выдумать на ночь загадки?

А вечер, в шелках раздушенных
кокетлив, невинен и южен,
расцветши сквозь сотни душонок,
мне больше не мил и не нужен.

Притиснуть бы за руки небо,
опять наигравшее юность,
спросить бы: «Так боль эта – небыль?» —
и – жизнью в лицо ему плюнуть!

Зажать голубые ладони,
чтоб выдавить снежную проседь,
чтоб в зимнем зашедшемся стоне
безумье услышать – и бросить!

А может, мне верить уж не с кем,
и мир – только страшная морда,
и только по песенкам детским
любить можно верно и твердо:

«У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?»

1916

* * *

Если ночь все тревоги вызвездит,
как платок полосатый сартовский,
проломаю сквозь вечер мартовский
Млечный Путь, наведенный известью.

Я пучком телеграфных проволок
от Арктура к Большой Медведице
исхлестать эти степи пробовал
и в длине их спин разувериться.

Но и там истлевает высь везде,
как платок полосатый сартовский,
но и там этот вечер мартовский
над тобой побледнел и вызвездил.

Если б даже не эту тысячу
обмотала ты верст у пояса —
всё равно от меня не скроешься,
я до ног твоих сердце высучу!

И когда бы любовь-притворщица
ни взметала тоски грозу мою,
кожа дней, почерневши, сморщится,
так прожжет она жизнь разумную.

Если мне умереть — ведь и ты со мной!
Если я — со зрачками мокрыми, —
ты горишь красотою писаной
на строке, прикушенной до крови.

1916

Венгерская песнь

Простоволосые ивы
бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Бьются Перун и Один,
в прасини захрипев.
Мы ж не имеем родин
чайкам сложить припев.

Так развевайся над прочими,
ветер, суровый утонченник,
ты, разрывающий клочьями
сотни любовей оконченных.

Но не умрут глаза —
мир ими видели дважды мы, —
крикнуть сумеют «назад!»
смерти приспешнику каждому.

Там, где увяли ивы,
где остывают ручьи,
чаек, кричащих «чьи вы?»,
мы обратим в ничьих.

1916

Откровение

Тот, кто перед тобой ник,
запевши твоей свирелью,
был такой же разбойник,
тебя обманувший смиреньем.

Из мочек рубины рвущий,
свой гнев теперь на него лью,
чтоб божьи холеные уши
рвануть огневою болью.

Пускай не один на свете, но я —
перед ним ведь нищий.
Я годы собрал из меди,
а он перечел их тыщи.

А! Если б узнать наверно,
хотя б в предсмертном хрипе,
как желты в Сити соверены, —
я море бы глоткой выпил.

А если его избранник
окажется среди прочих,
как из-под лохмотьев рваных,
мой нож заблестит из строчек.

И вот, оборвав смиренье,
кричу, что перед тобой ник
душистой робкой сиренью
тебя не узнавший разбойник.

1916

Скачки

Жизнь осыпается пачками
рублей; на осеннем свете
в небе, как флаг над скачками,
облако высинил ветер...

Разве ж не бог мне вас дал?
Что ж он, надевши время,
воздух вокруг загваздал
грязью призов и премий!

Он мне всю жизнь глаза ест,
дав в непосильный дар ту,
кто, как звонок на заезд,
с ним меня гонит к старту.

Я обгоню в вагоне,
скрыться рванусь под крышу,
грохот его погони
уши зажму и услышу.

Слышу его как в рупор,
спину сгибая круто,
рубель зажимая в руку
самоубийцы Брута.

1916

Проклятие Москве

С улиц гастроли Люце
были какой-то небылью —
казалось, Москвы на блюде
один только я небо лью.

Нынче кончал скликать
в грязь церквей и бань его я:
что он стоит в века
звание свое вызванивая?

Разве шагнуть с холмов
трудно и выйти на поле,
если до губ полно
и слезы весь Кремль закапали?

Разве одной Москвой
желтой живем и ржавою?

Мы бы могли насквозь
небо пробить державою.

Разве Кремлю не стыд
руки скрестить великие?..
Ну, так долой кресты!
Наша теперь религия!

1916

* * *

Как желтые крылья иволги,
как стоны тяжелых выпей,
ты песню зажги и вымолви
и сердце тоскою выпей!

Ведь здесь – как подарок царский —
так светится солнце кротко нам,
а там – огневое, жаркое
шатром над тобой оботкано.

Всплыву на заревой дреме
по утренней синей пустыне,
и – нету мне мужества, кроме
того, что к тебе не остынет.

Но в гор голубой оправе
все дали вдруг станут отверстыми,
и нечему сна исправить,
обросшего злыми верстами.

У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?

1916

* * *

У подрисованных бровей,
у пляской блещущего тела,
на маем млеющей траве
душа прожить не захотела.

Захотел холодный лес,
шатались ветви, выли дубы,
когда июньский день долез
и впился ей, немея, в губы.

Когда старейшины молчат,
тупых клыков лелея опыт, —
не вой ли маленьких волчат
снега залежные растопит?

Ногой тяжелой шли века,
ушли миры любви и злобы,
и вот — в полете мотылька
ее узнает поступь кто бы?

Все песни желтых иволог
храни, храни ревниво, лог.

1916

Через гром

Как соловей, расцеловавший воздух,
коснулись дни звенящие твои меня,
и я ищу в качающихся звездах
тебе узор красивейшего имени.

Я, может, сердцем дотла изолган:
вот повторяю слова – все те же,
но ты мне в уши ворвалась Волгой,
шумишь и машешь волною свежей.

Мой голос брошен с размаху в пропасть,
весь в черной пене качает берег,
срываю с сердца и ложь и робость,
твои повсюду сверкнули серьги.

По горло волны! Пропой еще, чем
тебя украсить, любовь и лебедь.
Я дней, закорчившихся от пощечин,
срываю нынче ответы в небе!

1916

* * *

За отряд улетевших уток,
за сквозной поход облаков
мне хотелось отдать кому-то
золотые глаза веков...

Так сжимались поля, убегая,
словно осенью старые змеи,
так за синюю полу гая
ты схватилась, от дали немея,

Что мне стало совсем не страшно:
ведь какие слова ни выстрой —
всё равно стоят в рукопашной
за тебя с пролетающей быстрые.

А крылами взмахнувших уток
мне прикрыла лишь осень очи,
но тебя и слепой — зову так,
что изорвано небо в клочья.

1916

Кремлевская стена

1

Тобой очам не надивиться,
когда, закатами увит;
на богатырской рукавице
ты – кровью вычервленный щит!

И эти царственные грани,
подъемля древний голос свой,
ведут мой дух в былые брани,
в разгул утехи громовой.

И мнится: к плачущему сыну
склонясь, лукавый Калита
поет грядущую былинку
необоримого щита.

2

И мнится: шумною ратью
поем и цедим вино;
и все – крестовые братья,
и все – стоим за одно.

Но вдруг – в разгаре пирушки,
в ответ на далекий рев —
протяжно завоют пушки
с зеленых твоих валов.

И пурпур башни оближет,
ты встанешь – странно светла:
в тот миг мне горло пронижет
замолкнувшая стрела.

1916

* * *

Ушла от меня, убежала,
не надо, не надо мне клятв!
У пчел обрываются жала,
когда их тревожат и злят.

Но эти стихи я начал,
чтоб только любить иначе,
и злобой своей не очень
по ним разгуляется осень.

1916

* * *

Приветствую тучи с Востока,
жестокое ветра любви,
я сжечь не умею восторга,
который мне душу обвил.

На мой ли прикликались вызов
иль слава вас слала сама,
летающие тучи Гафизов,
сошедших от счастья с ума?

Черны и обуглены видом
в персидском в палящем огне,
летите! Я счастья не выдам,
до плеч подаренного мне.

Привет вам, руки с Востока,
где солнце стоит, изомлев,
бледнеющее от восторга,
которого нет на земле.

1916

* * *

Нынче поезд ушел на Золочев,
ударяясь о рельсы. И вот —
я вставляю стихи на золоте
в опустевший времени рот.

Ты еще задрожешь и охнешь,
когда я, повернув твою челюсть,
поведу паровоз на Мохнач
сквозь колосьев сушеный шелест.

Я вижу этот визг и лязг,
с травой в шуме ставший об локоть,
где бота голубой глаз
глядит на мчащееся облако.

1916

* * *

Я буду волком или шелком
на чьем-то теле незнакомом,
но без умолку, без умолку
возникнет память новым громом.

Рассыпсья слабостью песка,
сплывись беспмятностью глины,
но станут красные калины
светиться заревом виска.

И мой язык, как лжи печать,
сгниет заржавевшим железом,
но станут иволги кричать,
печаль схвативши в клюв за лесом.

Они замрут, они замрут —
последний зубр умолк в стране так,
но вспыхнет новый изумруд
на где-то мчащихся планетах.

Будет тень моя беситься
дни вперед, как дни назад,
ведь у девушки-лисицы
вечно светятся глаза.

1916

Предчувствия

1

Деревня – спящий в клетке зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,
и – дрогнут сломанные прутья...

То было раз – и той поры
зажженных жил так яростный запах!
То не ножи и топоры,
то когти на сведенных лапах.

И только крик – и столько рук
подымутся из древней дали,
и будет бить багор и крюк,
сбивая марево медалей.

И я по лицам узнаю
и по рубашкам кумачовым —
судьбу грядущую свою,
протоптанную Пугачевым.

И на запекшейся губе,
и пыльной, как полынь, и горькой,
усмешку чую я себе,
грозящую кровавой зорькой.

Деревня – опаленный зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но грянет выстрел, хлопнет дверь,
и – когти брошены на прутья.

2

Какой многолетний пожар мы:
сведенные мужеством брови,
и – стены тюрьмы и казармы
затлели от вспыхнувшей крови.

И кровь эта смелых и робких!
И кровь эта сильных и слабых!
О, жизнь на подрезанных пробках,

в безумия скорченных лапах!

И кровь эта мечется всюду,
и морем ее не отмоют,
и кровь эта ищет Иуду,
идущего с серебром тьмою.

И вы, говорившие: «Пуль им!» —
и вы, повторявшие: «Режь их!» —
дрожите, прильнувши к стульям,
увидев поход этих пеших.

Кто жаждет напиться из лужиц,
тот встретит преграду потока, —
сумейте же будущий ужас
познать во мгновение ока!

Ведь если пощады в словах нет,
ведь если не выплыть из тины —
припомните: ржавчиной пахнет
затупленный нож гильотины.

1916

Охота

1

Где скрыт от взоров любопытных
мороза цвет – белокопытник, —
я – выбран осени в хорунжие
весны холодной – свежей волей
несу последнее оружие
на огневые крики боли.

На выкрики клювов утиных,
гремящих от тихой реки,
летят на своих паутинах
сквозь синюю даль пауки.

Охотник! Напрасно ты целишь
в летящую дикую прелесть:
прозрачный ломается шерешь,
и – песня со смертью расстрелись,
и смерть, посидевши на мушке,
рассыплет по берегу смушки.

2

Этот лес еще не очень
обожжен и позолочен,
этот день еще не так
полон бегством птиц и птах, —
но, грубостью боли терзаясь,
кричит человечески заяц;
и леса невидную убыль
обрежут косые дробины:
и – падает с дерева дупель
сквозь красные капли рябины;
и тлеют поляны от лая,
от хриплого желтого смеха,
где мчатся лисицы, пылая
летающим пламенем меха;
и воют пришедшие с Волги
веселые сивые волки!

* * *

Когда качнется шумный поршень,
и небеса поголубеют,
и пронесется низко коршун
над голубиной колыбелью, —
какой немеющей ладонью
сберут небесные одонья?

Владения осеннего тепла,
где смерти сон – приветливый шабер,
и если ты – осенний лист, – не плачь:
опрятен дней расчесанный пробор.

И гребешок из солнечных зубцов,
распутывая кудри облаков,
откроет вдруг холодное лицо.
И это – даль уснула глубоко.

И ветра в сияющем свисте
осыплются звездные листья,
и кисти сияющих ягод
на пальцы берущие лягут.

1917

Небо революции

Еще на закате мерцали...
Но вот – почернело до ужаса,
и всё в небесном Версале
горит, трепещет и кружится.

Как будто бы вечер дугою
свободу к зениту взвез: с неба —
одна за другою
слезают тысячи звезд!

И как над горящею Францией
глухое лицо Марата, —
среди лихорадящих в трансе
луна – онемевший оратор.

И мир, окунувшись в мятеж,
свежеет щекой умытенькой;
потухшие звезды – и те
послов прислали на митинги.

Услышьте сплетенный в шар шум
шагов без числа и сметы:
то идут походным маршем
к земле – на помощь – планеты.

Еще молчит тишина,
но ввысь —
мечты и желания,
и вот провозглашена
Великая Океания.

А где-то, как жар валюты,
на самой глухой из орбит,
солнце кровавым Малютой
отрекшееся скорбит!

1917

Приглашение к пляске

Зеленый лед залива скользкий...
Давай пропляшем танец польский?
Но нет! Он сумрачен и сух,
он не звенит, как стертый пенязь:
поблек кунтуш, оплыл кожух,
наш лед обломится, запенясь,
и в зажурчавшую кайму
оденется напрасно весь он,
и этой песни не поймут,
как всех прекрасных, нежных песен.

Еще правдивей и короче
и лучше длинных пустяков
плясать под музыку ороча,
под детский голос остяков.

Тебе же сосны надоели,
пускай свою нам бросит перс тень
и повернет вокруг недели,
как сказочный волшебный перстень,
чтобы тебе могла присниться
небес сияющая кротость,
чтоб снова Будда сел на лотос,
склонив гремящие ресницы.

Пока же здесь – пока мы здесь,
пока стоим в оленьей шкуре,
пока сияет Север весь, —
давай пропляшем танец бури!

1918

* * *

Еще и осени не близко,
еще и свет гореть, – не связан,
а я прочел тоски записку,
потерянную желтым вязом.

Не уроню такого взора,
который – прах, который – шорох.
Я не хочу земного сора,
я никогда не встречу сорок.

Когда ж зевнет над нами осень,
я подожгу над миром косы,
я посажу в твои зеницы
такие синие синицы!

1919

Заржавленная лира

1

Осень семенами мыла мили,
облако лукавое блукало,
рощи черноручье заломили,
вдалеке заслушавшись звукала.

Солнце шлялось целый день без дела.
Было ль солнца что светлей и краше?..
А теперь – скулой едва прордело,
и – закат покрылся в красный кашель.

Синий глаз бессонного залива
впился в небо полумертвым взглядом.
Сивый берег, усмехнувшись криво,
с ним улегся неподвижно рядом...

Исхудавший, тонкий облик мира!
Ты, как тень, безмочен и беззвучен,
ты, как та заржавленная лира,
что гремит в руках морских излучин.

И вот —
завод
стальных гибчайших песен;
и вот —
зевот
осенних мир так пресен,
и вот —
ревет
ветров крепчайших рев...
И вот —
гавот
на струнах всех деревьев!

2

Не верю ни тленью, ни старости,
ни воплю, ни стону, ни плену:
вон – ветер запутался в парусе,
вон – волны закутались в пену.

Пусть валится чаек отчаянье,
пусть хлюпает хлябями холод —
в седое пучины качанье
бросаю тяжелый стихов лот.

А мы на волне покачаемся,
посмотрим, что будет, что станет.
Ведь мы никогда не кончаемся,
мы – воль напряженных блистанья!

А если минутною робостью
скуют нас сердца с берегами —
вскипим! И над синею пропастью
запляшем сухими ногами.

3

И, в жизнь окунувшийся разом,
во тьму жемчуговых глубин,
под шлемом стальным водолаза
дыши, и ищи, и люби.

Оксана! Жемчужина мира!
Я, воздух на волны дробя,
на дне Малороссии вырыл
и в песню оправил тебя.

Пусть по дну походка с развальцем,
пусть сумрак подводный так сыр,
но солнце опалом на пальце
сияет на синий мир.

А если не солнцем – медузой
ты станешь во тьме голубой, —
я все корабли поведу
за бледным сияньем – тобой.

4

Тысячи верст и тысячи дней
становятся всё видней...
Тысячи душ и тысячи тел...
Рой за роем героев взлетел.

В голубенький небесный чепчик

с прошивкой облачного кружевца
одевшись,
малый мир
всё крепче
зажать в ручонки землю тужится.

А —
старый мир
сквозь мертвый жемчуг
угасших звезд, что страшно кружатся,
на малыша глядит и шепчет
слова проклятия и ужаса.

1920

Россия издали

Три года гневалась весна,
три года грохотали пушки,
и вот – в России не узнать
пера и голоса кукушки.

Заводы весен, песен, дней,
отрите каменные слезы:
в России – вора голодной
земные груди гложет озимь.

Россия – лен, Россия – синь,
Россия – брошенный ребенок,
Россию, сердце, возноси
руками песен забубённых.

Теперь там зори поднял май,
теперь там груды черных пашен,
теперь там – голос подымай,
и мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
и говор голубей развешан,
и ветер пену шевелит
восторгом взмыленных черешен.

Заводы, слушайте меня —
готовьте пламенные косы:
в России всходят зелена
и бредят бременем покоса!

1920

Владивосток

Игра

За картой убившие карту,
всё, чем была юность светла,
вы думали: к первому марту
я всё проиграю – дотла.
Вы думали: в вызове глупом
я, жизнь записав на мелок,
склонюсь над запахнувшим супом,
над завтрашней парой чулок.
Неправда! Я глупый, но хитрый.
Я больше не стану считать!
Я мокрою тряпкою вытру
всю запись твою, нищета.
Меня не заманишь ты в клерки,
хоть сколько заплат ни расти,
пусть все мои звезды померкли —
я счет им не буду вести.

Шептать мне вечно, чуть дыша,
шаманье имя Иртыша.
В сводящем челюсти ознобе
склоняться к телу сонной Оби.
А там – еще синеют снега,
светлейшие снега Онеги.
Ах, кто, кроме меня, вечер им
поведал бы печаль Печоры!
Лишь мне в глаза сверкал, мелькал,
тучнея тучами, Байкал.
И, играя пеною на вале,
чьи мне сердце волны волновали?

Чьи мне воды губы целовали?
И вот на губах моих – пена и соль,
и входит волнение, и падает боль,
играть мне словами с тобою позволь!

1921

Жар-птица в городе

Ветка в стакане горячим следом
прямо из комнат в поля вела,
с громом и с градом, с пролитым летом,
с песней ночью вокруг села.

Запах заспорил с книгой и с другом,
свежесть изрезала разум и дом;
тщетно гремела улицы ругань —
вечер был связан и в чашу вedom.

Молния молча, в тучах мелькая,
к окнам манила, к себе звала:
«Миленький, выйди! Не высока я.
Хочешь, ударюсь о край стола?!

Миленький, вырвись из-под подушек,
комнат и споров, строчек и ран,
иначе – ветром будет задушен
город за пойманный мой майоран!

Иначе – трубам в небе коптиться,
яблокам блекнуть в твоём саду.
Разве не чуешь? Я же – жар-птица —
в клетку стальную не попаду!

Город закурен, грязен и горек,
шелест безлиствен в лавках менял.
Миленький, выбеги на пригорок,
лестниц не круче! Лови меня!»

Блеском стрельнула белее мела
белого моря в небе волна?..
Город и говор – все онемело,
всё обольнула пламенной льна.

Я изловчился: ремень на привод,
пар из сирены... Сказка проста:
в громах и в граде прянула криво,
в пальцах шипит – перо от хвоста!

1922

Об обыкновенных

1

Жестяной перезвон журавлей,
сизый свист уносящихся уток —
в раскаленный металл перелей
в словолитне расплавленных суток.

Ты гляди: каждый звук, каждый штрих
четок так – словно, брови наморщив,
ночи звездный рассыпанный шрифт
набирает угрюмый наборщик.

Он забыл, что на плечи легло,
он – как надвое хочет сломаться:
он согнулся, ослеп и оглох
над петитом своих прокламаций.

И хоть ночь и на отдых пора б, —
ему – день. Ему кажется рано.
Он качается, точно араб
за широкой страницей Корана.

Как мулла, он упрям и уныл,
как араба – висков его просежь,
отливая мерцаньем луны,
не умеет прошедшего сбросить.

У араба – беру табуны,
у наборщика – лаву металла...
Ночь! Меня до твоей глубины
никогда еще так не взметало!

2

Розовея озерами зорь,
замирая в размерных рассказах,
сколько дней на сквозную лазорь
вынимало сердца из-за пазух!

Но – уставши звенеть и синеть,
чуть вращалось тугое кормило...
И – беглянкой блеснув в вышине —

в небе вновь трепетало полмира.

В небе – нет надоедливых пуль,
там, не веря ни в клетку, ни в ловлю,
ветку звезд нагибает бюль-бюль
на стеклянно звенящую кровлю.

Слушай тишь: не свежа ль, не сыра ль?..
Только видеть и знать захотим мы —
и засветится синий сераль
под зрачками поющей Фатимы.

И – увидев, как вьется фата
на ликующих лицах бегоний, —
сотни горло раздувших ватаг
ударяют за нею в погоню.

Соловей! Россиньоль! Нахтигалль!
Выше, выше! О, выше! О, выше!
Улетай, догоняй, настигай
ту, которой душа твоя дышит!

Им – навек заблудиться впотьмах,
только к нам, только к нам это ближе,
к нам ладонями тянет Фатьма
и счастливыми росами брызжет.

1922

Птичья песня

Борису Пастернаку

Какую тебе мне лесь сплесть
кривее, чем клюв у клеста?
И как похвалить тебя, если
дождем ты листы исхлестал?

Мы вместе плясали на хатах
безудержный танец щегла...
И всех человеческих каторг
нам вместе дорога легла.

И мне моя жизнь не по нраву:
в сороку, в синицу, в дрозда, —
но впутаться в птичью ораву
и — навеки вон из гнезда!

Ты выщелкал щекоты счастья,
ты иволгой вымелькал степь,
меняя пернатое платье
на грубую муку в холсте.

А я из-за гор, из-за сосен,
пригнувшись, — прицелился в ночь,
и — слышишь ли? — эхо доносит
на нас свой повторный донос.

Ударь же звончей из-за лесу,
изведавши все западни,
чтоб снова рассвет тот белесый
окрасился в красные дни!

1922

* * *

Совет ветвей, совет ветров,
совет весенних комиссаров
в земное черное нутро
ударил огненным кресалом.

Губами спеклыми поля
хлебнули яростной отравы,
завив в пружины тополя,
закучерявив в кольца травы.

И разом ринулась земля,
расправив пламенную гриву,
грозить, сиять и изумлять
не веривших такому взрыву.

И каждый ветреный посыл
за каждым новым взмахом грома
летел, ломал, срывал, косил —
что лед зальдил, что скрыла дрема.

И каждый падавший удар
был в эхе взвит неумолканном:
то – гор горячая руда
по глоткам хлынула вулканным.

И зазмеился шар земной
во тьме миров – зарей прорытой...
«Сквозь ночь – со мной,
сквозь мир – за мной!» —
был крик живой метеорита.

И это случилось на земле,
и это сделала страна та,
в которой древний разум лет
взмела гремящая граната.

Пускай не слышим, как летим,
но если сердце заплясало, —
совет весны неотвратим:
ударит красное кресало!

Наигрыш

От Грайворона до Звенигорода
эта песня была переигрывана.
В ней от доньего дня до поволжьяна
крики «стронь-старина» в струны вложены.
Всё, что было твердынь приуральных,
все лежат, как скирды, пробуравлены.
Изломи стан, гора, хребет Яблоновый,
утекай, Ангара, от награбленного!
Ветер, жги, ветер, рви, ветер, мни-уминай,
разбирай семена, раздирай имена,
раскромсай, разбросай города в города,
вей, рей, пролетай, свою жизнь коротай!

1922

Собачий поезд

1

Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!

Это бубен шаманий,
или ветер о льдину лизнул?
Всё равно: он зовет, он заманивает
в бесконечную белизну.

Арроз!
Аррроз!
Арррроз!

В ушах – полозьев лисий визг,
глазам темно от синих искр,
упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!

Арроаэ
Аррроз!
Арррроз!
Аррррроз!

2

На уклонах – нарты швыдче...
Лишь бичей привычный шелк.
Этих мест седой понытчик —
затрубил слезливо волк.
И среди пластов скрипучих,
где зрачки сжимает свет,
он – единственный попутчик,
он – ночей щемящий бред.
И он весь —
гремящая песнь

нестихающего отчаяния,
и над ним
полыхают дни
векового молчания!
«Я один на белом свете вою
зазвеневшей древле тетивой!»
– «И я, человек, ловец твой и недруг,
также горюю горючей тоскою
и бедствую в этих беззвучья недрах!»

Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!

3

Но и здесь, среди криков города,
я дрожу твоей дрожью, волк,
и видна опененная морда
над раздольем Днепров и Волг.
Цепенеет земля от края
и полярным кроется льдом,
и трава замирает сырая
при твоём дыханье сedom,
хладнокровьем грозящие зимы
завоевают уста в метель...
Как избежать — промчаться мимо
вековых ледяных сетей?

Мы застыли
у лица зим.
Иней лют зал —
лаз тюлений.
Заморожен —
нежу розу,
безоружен —
нежу роз зыбь,
околдован:

«На вот локон!»
Скован, схован
у висков он.

Эта песенка – синего Севера тень,
замирающий в сумраке перевертень,
но хотелось весне побороть в ней
безголосых зимы оборотней.
И, глядя на сияние Севера,
на дыхание мертвое света,
я опять в задышавшем напеве рад
раззвенеть, что еще не допето.

4

Глаза слепит от синих искр,
в ушах – полозьев зыбкий свист,

упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!..
Влеки, весна, меня, влеки
туда, где стынут гиляки,
где только тот в зимовья вхож,
кто в шерсти вывернутых кож,
где лед ломается, звеня;
где нет тебя и нет меня,
где всё прошло и стало
блестящим сном кристалла!

1922

и песнь
и страсть,
вот так и мне —
в рукоплесканьях молний,
вздохнув —
упасть.
Ведь жить
и значит:
петь, любить и злиться
и рвать в клочки,
пока
глядят оливковые лица,
горят зрачки!
Амфитеатру —
вечная услада
твоя беда...
Иди ко мне,
багровая Гренада,
иди сюда!
Ведь так и жил,
и шел,
и падал Пушкин,
и пел,
пока —
взвивались горящие хлопушки,
язвя бока.

3

Все ждут, все ждут:
когда ж начнешь ты падать,
еще горящ,
и первая
Испании эспада
проколет хрящ.
Ведь радостнее
всех людских профессий, —
сменясь в лице,
судьбу чужую
взвесив на эфесе,
ударить в цель!

<1924>

А. А. Ахматовой

Не враг я тебе, не враг!
Мне даже подумать страх,
Что, к ветру речей строга,
Ты видишь во мне врага.
За этот высокий рост,
За этот суровый рот,
За то, что душа пряма
Твоя, как и ты сама,
За то, что верна рука,
Что речь глуха и легка,
Что там, где и надо б желчь, —
Стихов твоих сот тяжел.
За страшную жизнь твою,
За жизнь в ледяном краю,
Где смешаны блеск и мрак,
Не враг я тебе, не враг.

18 апреля 1924

Конец зиме

Бабахнет
 весенняя пушка
 с улиц,
завертится
 солнечное ядро;
большую
 блистающую
 сосую
бросает
 в весеннюю грусть и дрожь.

По каплям
 разбрызгивается холод, по каплям
распластывается тень;
уже мостовая
 свежо и голо
цветет,
 от снега осиротев.
Вот так бы
 и нам,
 весенним людишкам,
под гром и грохот
 летучих лучей
скатиться
 по легким
 сквозным ледышкам
в весенний
 пенный,
 льютный ручей.
Ударил в сердце
 горячий гром бы,
и радостью
 новых,
 свежих времен,
вертушкой
 горячей солнечной бомбы
конец зимы
 чтоб был заклеимен!

<1925>

Синие гусары

1

Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летит вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
«Руку
на сердце свое
положа,
я тебе скажу:
ты не тронь палаша!
Силе такой
становясь поперек,
ты б хоть других —
не себя —
поберег!»

2

Белыми копытами
лед колотя,
тени по Литейному —
дальше летят.
«Я тебе отвечу,
друг дорогой, —
гибель нестрашная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,
голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу —
сердце мое
влюблено!»

3

Розовые губы,
 витой чубук.
Синие гусары —
 пытай судьбу!
Вот они,
 не сгинув,
 не умирая,
снова собираются
 в номерах.
Скинуты ментики,
 ночь глубока,
ну-ка – вспеньте-ка
 полный бокал!
Нальем и осушим
 и станем трезвей:
«За Южное братство,
 за юных друзей!»

4

Глухие гитары,
 высокая речь...
Кого им бояться
 и что им беречь?
В них страсть закипает,
 как в пене стакан:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.